# Нищий

# Уильям Сомерсет Моэм

Бог знает, сколько раз я сетовал, что не имею хотя бы части времени сделать хотя бы часть того, что мне хочется. Не помню, когда у меня в последний раз была свободная секунда. Много раз я тешил себя мечтами о том, как целую неделю ничего не буду делать. Большинство людей когда не работают, то развлекаются: ездят верхом, купаются, либо играют в теннис или в карты. Я же мечтал о полном безделье. Все утро я буду лентяйничать, днем лодырничать, а вечером бить баклуши. Мое сознание уподобится грифельной доске, а каждый час — губке, стирающей с нее каракули, набросанные рукою чувственного мира. Время, которое так быстротечно, время, уходящее безвозвратно, — вот драгоценнейшее достояние человека, и выбрасывать его на ветер есть самая изощренная форма расточительства. Клеопатра растворила в вине бесценную жемчужину... но отдала его выпить Антонию. Растрачивать же попусту короткие золотые часы своей жизни — значит выплеснуть на землю вино с растворенной в нем жемчужиной. Жест великолепный, но, как и все великолепные жесты, бессмысленный. И в этом, конечно, его оправдание. Я не сомневался, что в течение недели, которую обещал себе, я буду читать, потому что для человека, привыкшего к чтению, оно становится наркотиком, а он сам — его рабом. Попробуйте отнять у него книги, и он станет мрачным, дерганным и беспокойным, а потом, подобно алкоголику, который, если оставить его без спиртного, набрасывается на политуру и денатурат, он с горя примется за газетные объявления пятилетней давности и телефонные справочники. Но писатель, читая, редко может избавиться от профессионального интереса. А я хотел, чтобы чтение было лишь одной из форм безделья.

Я решил, что, если только наступят желанные дни и я смогу отдаться безмятежному досугу, я совершу то, что давно влекло меня к себе, но о чем, подобно путешественнику, только-только вступившему в неизведанные земли и не знающему, что его ждет впереди, я имел очень смутное представление: я прочитаю всего «Ника Картера» (серия бульварных детективных рассказов о «короле сыщиков" — Нике Картере — прим.автора).

Однако я всегда думал, что сам выберу такое время да в придачу —обстановку себе по вкусу, и никак не предполагал, что мне его навяжут. И когда неожиданно оказалось, что мне совершенно нечего делать и нужно как-то выходить из положения, я был захвачен врасплох (совсем как бывает, когда где-нибудь посреди Тихого океана пригласишь знакомого по кораблю пассажира заходить к тебе запросто и он без предупреждения ввалится в твою лондонскую квартиру с кучей багажа). Я приехал из Мехико в Веракрус, чтобы на одном из белых и прохладных судов Уордовской компании плыть на Юкатан, и тут, к ужасу своему, узнал, что накануне вечером в порту началась забастовка и пароход не зайдет в гавань. Я застрял в Веракрусе. Заняв номер в отеле «Дилихенсиас» на центральной площади, я провел утро, осматривая местные достопримечательности. Послонялся по переулочкам, заглядывая в непривычные моему глазу дворики, побывал в церкви: контрфорсы и причудливые карнизы, увенчанные каменными страшилищами, придают ей живописный вид; соленые ветры и палящее солнце много поработали над ее массивными шершавыми стенами, наложив на них смягчающую печать старины; купол сверкает белыми и синими изразцами. После этого оказалось, что смотреть больше нечего. Я занял столик под прохладными сводами галереи, окружающей площадь, и заказал виски. Солнце обрушивалось на площадь во всем своем безжалостном великолепии. Кокосовые пальмы сникли, покрывшись пылью и грязью. Большие черные грифы неуклюже опускались на них и тут же срывались вниз, чтобы подхватить с земли какие-нибудь отбросы, а потом, тяжело поднимая крылья, взлетали на колокольню. Я наблюдал за людьми, снующими по площади. Это были негры, индейцы, креолы, испанцы — пестрая толпа побережья Карибского моря, люди самых разных оттенков кожи — от черного дерева до слоновой кости. Ближе к полудню столики вокруг меня стали заполняться, главным образом мужчинами, которые зашли сюда пропустить стаканчик перед обедом. Большинство из них были в белых брюках. Но некоторые, несмотря на жару, были облачены в темные костюмы, служившие неотъемлемой частью их профессиональной респектабельности. Маленький оркестр — гитарист, слепой скрипач, арфистка наигрывал танцевальные мелодии. После каждых двух номеров гитарист с тарелкой в руках обходил столики. Я уже купил местную газету и проявлял несгибаемую твердость перед упорными попытками газетчиков навязать мне еще несколько экземпляров ее же. По меньшей мере двадцать раз я отказался от услуг чумазых мальчишек, желавших почистить мои и без того сверкавшие туфли, а так как в конце концов у меня не осталось мелочи, я только покачивал головой в ответ на назойливые приставания нищих. От них не было спасения. Индианки в бесформенных лохмотьях, каждая с ребенком, завернутым в шаль и привязанным за спиной, протягивали пергаментные руки и клянчащим голосом рассказывали одну и ту же печальную историю; маленькие мальчики подводили к моему столу слепцов; больные, увечные, калеки демонстрировали язвы и уродства, которыми наградила их природа или несчастный случай; без конца хныкали, выпрашивая медяки, полуголые голодные детишки. Все они боялись толстого полицейского, который время от времени выныривал откуда-то и начинал хлестать их плеткой по спине и по голове. Тогда они бросались от него врассыпную, но возвращались обратно, как только он, обессилев от столь непомерного напряжения, снова впадал в летаргию.

Внезапно я обратил внимание на нищего, резко отличавшегося от всех других, да и от людей, сидевших вокруг меня — смуглых и черноволосых, —цветом своих ослепительно рыжих волос и бороды. Он не расчесывал их, наверное, уже несколько месяцев, борода его свалялась, длинные патлы на голове торчали во все стороны. На нем не было ничего, кроме брюк и бумажной фуфайки, но таких засаленных и драных, что непонятно было, почему они еще не развалились. Никогда не приходилось мне видеть такой худобы; его ноги, его обнаженные руки были кожа да кости, сквозь дыры в фуфайке проглядывали резко очерченные ребра, а на покрытых пылью ступнях можно было сосчитать все косточки. Среди всех этих жалких подобий человека он выглядел самым несчастным. Он не был стар, ему вряд ли перевалило за сорок, и я невольно задумался над тем, что же могло довести его до такой жизни. Трудно было предположить, что он не стал бы трудиться, если бы мог достать работу. Единственный из всех нищих на площади, он молчал. Все остальные вопили о своих страданиях и, если это не приносило подаяний, продолжали клянчить до тех пор, пока их не отгоняли грубым окриком. Этот не произносил ни слова. Он, вероятно, понимал, что его фигура лучше всяких слов говорит о его бедности. Он даже не протягивал руки, а просто смотрел на вас, и в глазах у него было столько отчаяния, вся его поза выражала такую безнадежность, что становилось страшно. Он стоял и стоял, молча и неподвижно, а затем, если на него не обращали внимания, медленно переходил к следующему столику. Если ему не подавали ничего, он не выказывал ни разочарования, ни злобы. Когда ему подавали монету, он делал небольшой шаг вперед, протягивал руку, похожую на когтистую лапу птицы, без слова благодарности брал деньги и все так же безразлично двигался дальше. Мне нечего было дать ему, и, когда он подошел ко мне, я покачал головой, чтобы не заставлять его ждать понапрасну.

— Dispense usted por Dios (Бог подает — исп.), — сказал я, прибегнув к вежливой кастильской формуле, которой испанцы отказывают нищим.

Он не обратил ни малейшего внимания на мои слова. Он стоял предо мною ровно столько же, сколько и у других столов, и смотрел на меня трагическими глазами. Никогда еще я не видел такой глубины падения. В его внешности было что-то ужасающее. Так не может выглядеть нормальный человек. Наконец он отошел от меня.

Пробило уже час, я пошел завтракать. Когда я проснулся после дневного отдыха, все еще стояла духота, но ближе к вечеру дуновение ветерка, проникшего в комнату через окно, которое я отважился открыть, соблазнило меня выйти на улицу. Я снова уселся в тени галереи и взял себе виски. Вскоре площадь заполнилась народом, появившимся из окружающих улиц, за столиками не осталось свободных мест, и на эстраде посреди площади заиграл оркестр. Народу становилось все больше. По краям площади на скамейках набилось столько людей, что они сидели, прижавшись друг к другу, словно виноградинки в грозди. В воздухе стоял шумок разговора. Большие черные птицы, пронзительно вскрикивая, летали над головой и то падали камнем на землю, когда замечали что-нибудь съедобное, то с шумом вспархивали из-под ног у прохожих. К закату они уже кишели на колокольне, слетевшись туда, казалось, со всех концов города. Птицы тяжело кружили вокруг колокольни, хрипло ссорясь и переругиваясь, а потом уселись на нее и угомонились на всю ночь. И снова меня осадили чистильщики обуви, снова продавцы газет старались всучить мне влажные от типографской краски листы, снова я услышал жалобные вымогательства нищих. Того странного рыжеволосого человека я тоже увидел и стал наблюдать, как он, жалкий и подавленный, застывал поочередно перед каждым столиком. Перед моим он не задержался. Видимо, он запомнил меня с утра и, не получив тогда от меня ни гроша, счел бесполезным повторять попытки. Рыжеволосые мексиканцы попадаются не так-то часто, к тому же людей, обнищавших до такой степени, я встречал только в России, поэтому я задал себе вопрос, не русский ли он, случайно. Но у него было нерусское лицо. Черты резкие, не расплывчатые, и разрез голубых глаз совершенно не русский. Мне пришло в голову, что, может быть, он моряк — англичанин, скандинав или американец, сбежавший со своего корабля и постепенно докатившийся до такого состояния. Он исчез. Поскольку мне ничего иного не оставалось, я просидел за своим столиком, пока не почувствовал голод, а пообедав, вернулся на то же место. И снова сидел до тех пор, пока народ не начал расходиться по домам. Пора было спать. Признаться, тот день показался мне бесконечно долгим, и я уже с тревогой подумывал о том, сколько же таких вот дней я обречен провести здесь.

Проснулся я очень скоро и никак не мог снова заснуть. В комнате нечем было дышать. Я распахнул ставни и выглянул на улицу. Передо мною высилась церковь. Луны не было, однако очертания ее проступали в свете ярких звезд. Черные птицы усеяли крест над куполом церкви и карнизы колокольни и по временам шевелились. Это производило очень неприятное впечатление. И тут, не знаю почему, мне вспомнилось это рыжее чучело и появилось странное чувство, будто я где-то уже видел его. Чувство это было так сильно, что мне окончательно расхотелось спать. Я был уверен, что встречал его, но когда и где, сказать не мог. Я пробовал нарисовать себе обстановку, в которой мог его встретить, но видел всего лишь неясный, маячащий в тумане силуэт. На рассвете стало прохладнее, и я наконец уснул.

Второй день в Веракрусе прошел так же, как и первый. Но я ждал прихода рыжеволосого нищего и, когда он остановился у столика неподалеку от меня, принялся внимательно его рассматривать. Теперь я был уверен, что где-то видел этого человека. Я был даже уверен, что знал его и разговаривал с ним, но все же мне совсем не припоминались связанные с этим обстоятельства. Он прошел мимо моего столика еще раз и опять не остановился, и, когда наши взгляды встретились, я заглянул ему в глаза, надеясь уловить в них хотя бы искру воспоминания. Ничего. Может быть, я ошибся, подумал я, может быть, я видел его так же, как, делая иной раз что-нибудь, видишь каким-то внутренним зрением, что все это уже было. Я не мог отделаться от впечатления, что в свое время он пересек мой жизненный путь. Я изо всех сил пытался вспомнить. Теперь я был убежден, что он либо англичанин, либо американец. Однако обратиться к нему было неловко. Я перебирал в голове случаи, когда мог с ним встретиться. Невозможность связать его с какой-то определенной обстановкой действовала мне на нервы. Так бывает, когда тщетно стараешься припомнить имя, которое вертится на кончике языка. А время шло.

Наступил еще один день, еще одно утро, еще один вечер. Было воскресенье, на площади стало многолюднее. За столиками в галерее все места были заняты. Как обычно, появился и рыжий нищий, произведший на меня такое ужасающее впечатление своим молчанием, отвратительными лохмотьями и кричащей бедностью. Он стоял столика за два от меня, безмолвно умоляя о милостыне и не делая ни одного движения. Затем я увидел, как полицейский, который время от времени предпринимал попытки избавить публику от назойливости всех этих попрошаек, внезапно вырос из-за колонны и звонко щелкнул его плетью по спине. Тощее тело рыжего вздрогнуло, однако он не произнес ни звука и не выразил ни малейшего негодования. Он, казалось, принял этот резкий удар, как нечто само собой разумеющееся, и так же незаметно, как появился, бесшумно исчез в сгущавшихся на площади сумерках. Но грубый удар подстегнул мою память, и я вдруг вспомнил.

Не имя — оно все еще ускользало от меня, — но все остальное. Должно быть, он узнал меня, так как за прошедшие двадцать лет я мало изменился, и поэтому он ни разу больше не задерживался перед моим столиком. Да, я встречался с ним двадцать лет назад. Я проводил зиму в Риме и обычно обедал в ресторанчике на Виа Онегина, где подавали превосходные макароны и можно было получить хорошее вино. Завсегдатаями этого ресторанчика были несколько студентов — американцев и англичан, изучавших искусство, — и два-три писателя. Мы засиживались допоздна, увлекшись бесконечными спорами об искусстве и литературе. Он заходил туда вместе с молодым художником, своим другом. Он был совсем еще мальчиком, не старше двадцати двух лет и очень привлекательной внешности — голубоглазый, с прямым носом и ярко-рыжими волосами. Ой, помнится, много разглагольствовал о Центральной Америке, у него до этого было место в «Америкэн фрут компани», но он бросил его, потому что хотел стать писателем. Его в нашей среде недолюбливали за высокомерие, никто из нас не был настолько умудрен житейским опытом, чтобы проявить терпимость к высокомерию молодости. Он считал нас мелюзгой и не колеблясь говорил нам об этом. Он не показывал нам своих работ, потому что наши похвалы ничего не значили для него, а нашу критику он презирал. Тщеславие его было безмерно. Это раздражало нас, но кое-кому казалось, что, может быть, оно и оправданно. Возможно ли, чтобы такое обостренное сознание собственной гениальности не имело под собой никакой почвы? Он пожертвовал всем, чтобы стать писателем. Он так верил в себя, что заразил этой верой и некоторых своих друзей.

Я вспомнил его веселый нрав, подвижность, его уверенность в будущем и его бескорыстие. Невероятно, чтобы это был тот же человек, и все же я в этом не сомневался. Я встал, заплатил за виски и вышел на площадь, чтобы найти его. Мысли мои мешались. Мне и прежде случалось вспоминать о нем и от нечего делать задумываться, что же из него вышло. Никогда бы я не мог вообразить, что он живет в такой страшной нищете. Сотни, тысячи молодых людей, окрыленных надеждами, вступают на трудный путь служения искусству, но в большинстве своем они примиряются с собственной посредственностью и находят где-нибудь в жизни закоулок, в котором спасаются от голодной смерти. Это было ужасно. Я спрашивал себя, что могло с ним случиться. Какие несбывшиеся надежды сломили его дух, какие разочарования подорвали его силы, какие потерянные иллюзии стерли его в порошок? Я спрашивал себя: неужели это конец? Я обошел всю площадь. Под колоннадой его не было. Нечего было и думать найти его в толпе, окружавшей эстраду. Темнело, и я боялся, что потерял его. Потом я подошел к церкви и там увидел его сидящим на ступенях. Не могу описать, какое жалкое зрелище он собою представлял. Он попал в лапы к жизни, и она искалечила и изломала его, а потом бросила истекать кровью на каменные ступени этой церкви. Я подошел к нему.

— Вы помните Рим? — спросил я.

|Он не пошевелился. Не ответил. Не обратил на меня никакого внимания, словно перед ним было пустое место.

Он не смотрел на меня. Его отсутствующий взгляд застыл на черных грифах, которые отвратительно кричали и дрались на ступенях за какие-то отбросы. Я не знал, как мне поступить. Я вынул из кармана желтую кредитку и сунул ему в руку. Он не посмотрел на нее. Но рука его чуть шевельнулась, тонкие пальцы-когти сомкнулись и смяли ее; он скомкал бумажку в маленький шарик, а потом, положив его на ноготь большого пальца, подбросил в воздух, и шарик упал среди галдящих птиц. Я инстинктивно оглянулся и увидел, как одна из них схватила шарик в клюв и полетела прочь, с шумом преследуемая двумя другими. Когда я опять повернул голову, человека не было.

В Веракрусе я провел еще три дня. Его я больше не видел.